

УДК 39+82.94

DOI 10.24412/2411-7838-2021-13-11-15

МАКАРЫЧ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ УРОК

Д. В. Арзютов

Королевский технологический институт КТН, Стокгольм, Швеция;

Университет Абердина, Абердин, Великобритания;

Университет Оулу, Оулу, Финляндия

Настоящий очерк – воспоминания о Валерии Макаровиче Кимееве, этнографе, посвятившем свою жизнь изучению народов Кемеровской области. Автор рассказывает о В. М. Кимееве как преподавателе, а также делится историями из совместных с ним полевых исследований.

Ключевые слова: Валерий Макарович Кимеев, Горная Шория, этнографические экспедиции

MAKARYCH. A LESSON IN ETHNOGRAPHY

D. V. Arzyutov

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden;

University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom;

University of Oulu, Oulu, Finland

The present essay is the author's reminiscences of Valery M. Kimeev, an ethnographer who devoted his academic life to the study of ethnic groups in the Kemerovo region. The author tells about Kimeev as a university lecturer and also shares his stories about the field research they conducted together.

Keywords: Valery Makarovich Kimeev, Gornaya Shoria, ethnographic fieldworking

Его многие называли Макарыч, и ему это, видимо, льстило. Было в этом что-то шукшинское. Ирония и простота при общении с ним всегда вызывали добрую улыбку. Макарыч... Не знаю почему, но у меня не получалось его так называть, хотя именно как Макарыч он продолжает жить в моей памяти.

Мы последний раз обменялись письмами в октябре 2020 г.: он прислал мне несколько фотографий и как всегда иронично спросил, когда я приеду на свою этнографическую родину? Я ответил, что точно приеду, как только «отступит зараза». Может быть она когда-то и отступит, но Макарыча я уже больше не увижу...

Я помню, как осенью 1999 г. он вошёл в большую поточную аудиторию истфака Кемеровского университета лёгкой походкой, с улыбкой на лице и со свёртком карт под мышкой. Это был курс общей этногра-

фии. Курс был действительно достаточно общим, и Макарыч его читал скорее историко-географически. Это его представление об этнографии шло, по всей видимости, от советской этнографической традиции, а если точнее, от «школы Рудольфа Фердинандовича Итса», о которой он говорил только с придыханием. Развесив карты, он рассказывал нам реконструируемую историю до-контактных обществ Америки, Африки и т. д. Потом мы постепенно перемещались в область «традиционной культуры» и заканчивали современными этнополитическими процессами. Рассказывал он мастерски: ярко, с юмором и всегда «без бумажки». После каждой лекции студенты сбегались к нему, и он продолжал рассказывать байки из своих экспедиций. Это не могло не завораживать. Мы его очень любили. Личное обаяние, находчивость и доброта. Ему было тогда 47, а нам – лет по 17–18.

После лекций он охотно принимал студентов у себя в «каморке» в музее «Археология, этнография и экология Сибири», что буквально в соседнем здании от истфака, где мог напоить их чаем (а порой предлагал и что-то покрепче) и бесконечно рассказывал о прошлом и настоящем коренных народов Кемеровской области и, шире, Южной Сибири. Я попал как раз в тот период его жизни, когда он с жадностью читал книги по истории колонизации региона и даже думал, что именно эта тема должна стать темой его докторской диссертации. Через историю колонизации он пытался понять причины и формы текущих притязаний шорцев, телеутов, калмаков и других народов на землю и культуру. Мне очень ярко запомнились посиделки, когда он и его друг и коллега Виктор Николаевич Добжанский – историк и археолог с истфака – спорили о самых разных обстоятельствах колонизации: от местонахождения того или иного острога до расселения той или иной группы, включая тюльберов, которых то ли в шутку, а то ли всерьёз (всё-таки этот этноним фигурирует в документах XVII в.) Макарыч описывал как отдельный народ, существовавший в первые десятилетия русской колонизации. Впрочем, он был настолько убедителен, что мог материализовать свои догадки и предположения. В этих реконструкциях и историях ему верили разные «начальники», с которыми он умел находить общий язык, при этом оставаясь вдали от политики. Последним его проектом стал «Тюльберский городок». По его инициативе бывшая турбаза в Кемеровском районе была перестроена под реконструированный острог, по соседству с которым было найдено средневековое городище, которое, конечно же, должно было принадлежать тюльберам.

В эти годы Татьяна Ивановна Кимеева, супруга Валерия Макаровича, работала над своей кандидатской диссертацией по материальной культуре коренных народов Кемеровской области. В их музейной лаборатории царил какой-то особый дух. Вещи переплетались с историей, история устная с историей письменной. В начале того музейного коридора была лаборато-

рия Якова Абрамовича Шера, также недавно ушедшего от нас. Как и Макарыч, он любил, когда к нему заходили студенты. Я не был частым гостем в его комнате, но время от времени заходил пообщаться. Этот музей мне казался совершенно особым. В какой-то момент Макарыч даже дал мне ключ от своей «каморки», чтобы я мог приходить туда сам и читать книги. Вряд ли я преувеличу, если скажу, что именно тогда и в том самом месте я остро почувствовал свою тягу к исторической антропологии, где «поле», архив и музей находятся не по разные стороны, а объединены множественными переходами и мостами, по которым я продолжаю бродить и сегодня.

В очень живой манере общения Макарыча чувствовался этнограф-полевик, который в любой день мог сорваться с места и отправиться в экспедицию. Так и было. Несколько раз он заканчивал «пару» раньше, запрыгивал в университетскую «буханку» и ехал или в один из своих музеев, которых он построил по Кемеровской области великое множество, или в Горную Шорию, к которой был привязан всем сердцем. В этом всё он был очень естественен. Поражала всегда его непритязательность в одежде, которая, видимо, была среди прочего связана с чередой экономических кризисов, через которые прошли все в России. Но мне тогда, да и сейчас кажется, что эта простота отражала и его готовность к «полю» в любой момент.

Я помню, как он в первый раз взял меня с собой в экспедицию. Я был на втором курсе университета и уже проводил очень много времени в его лаборатории, читая книги и работая с вещами. Был конец января. Он подошёл и спросил: «Слушай, а ты не хочешь поехать со мной к шорцам?» Я посмотрел на него и, вероятно, немного странно улыбаясь, тут же ответил: «Конечно!».

«Ну, тогда в пятницу утром будь готов! Встречаемся во дворе музея и едем на машине в Таштагол», – с улыбкой ответил Макарыч.

Мы действительно отправились небольшой компанией на «буханке» в Шорию, о

которой я ещё вчера читал в записках миссионера Василия Ивановича Вербицкого, книгах и статьях Леонида Павловича Потапова и в книге самого Кимеева «Шорцы. Кто они?». Дорога была длинной и весёлой. Макарыч был явно на эмоциональном подъёме. «Поле» для любого этнографа – наркотик, и он, без сомнения, был зависим от него. Потом был вертолёт до Усть-Анзаса – вероятно, самого любимого места Макарыча на земле. У него там даже был свой дом, в котором выросли его и Татьяны Ивановны дети. Что может быть ближе?

Всё шло очень хорошо. Мы ходили по домам, говорили с его старыми знакомыми, ездили в соседние улусы, вечерами сидели у теплой печки, делились впечатлениями, выпивали... В какие-то места поблизости я отправлялся вместе с местными ребятами-проводниками, куда-то мы ездили вместе. Для него это было то, что сегодня антропологи называют «рефлексивной этнографией» – регулярным возвращением в те же самые места и к тем же людям из года в год. Он, как и многие советские этнографы его поколения, повернул полевою темпоральность, провозглашённую ещё в 1920-е гг. Владимиром Богоразом, от «поля» продолжительностью в 12+1 месяц, чтобы увидеть так называемый этнографический год, к «полю», которое начиналось с ранних лет этнографа и длилось фактически до смерти исследователя. Вместо цикла образовывалась линия, которая в некотором смысле напоминает генеалогическую. Люди в «поле» оказывались настолько близки, что исследователь словно сам прорастал в социальной и культурной динамике места и порой настолько глубоко, что «поле» раскрывалось перед ним как старая семейная фотография, о которой можно говорить бесконечно долго. Особенно не теоретизируя над этим, Макарыч просто рассказывал вечерами про каждый дом в Усть-Анзасе и пересказывал истории семей, связывая их с музейными коллекциями, старыми публикациями и воспоминаниями, которые он когда-то слышал. Он создавал перед моими глазами какую-то совершенно немислимую этнографию, в которой история

и современность никогда не разрывались, а, напротив, сливались в поток из лиц, слов, домов, вещей, фрагментов ландшафта, старых фотографий... И над всем этим был голос Макарыча с его характерными ироничными нотками.

И вот через пару недель моего первого этнографического погружения, Макарыч вечером за чаем сказал: «Мне надо в университет срочно. Но ты оставайся здесь. Я полечу на вертолете, а ты побудь ещё. Я тебе деньги на обратную дорогу оставлю уже в Таштаголе в музее у [Надежды Алексеевны] Шихалёвой».

Сложно описать мои чувства в тот момент. В этом было что-то тревожное и вместе с тем эмоционально яркое: мне, городскому мальчишке, 18 лет, я понимаю, что остаюсь в его доме один, и это, вероятно, будет моим настоящим первым этнографическим «полем». Он действительно улетел, а я действительно остался... Последующие дни и недели прошли как-то по особенному. Когда я открываю полевого дневник той своей поездки, удивляюсь, сколько времени думал именно о себе. Это, видимо, был тот самый шок, который неведомые мне тогда антропологи описали столь эмоционально ярко и интеллектуально глубоко в своих книгах. Под конец моего «этнографического одиночества» я даже полюбил это состояние и потом уже в своих полевых исследованиях среди алтайцев и ненцев оставался приверженцем «поля» именно в одиночку, что даёт возможность и время понять Другого через свою телесность, через те вещи, на которые в повседневной жизни попросту не обращаешь внимания.

Я добрался до Таштагола. Деньги действительно меня ждали в музее. Надежда Алексеевна очень радушно меня приняла. Потом была дорога на поезде, радовавшиеся моему возвращению родители, и уже вскоре я пришел в университет на занятия. С этого времени я почувствовал почти биологическую привязанность к этнографии и истории. За бесконечной иронией и какой-то лёгкостью поступков Макарыча скрывалась огромная этнографическая мудрость. Это был урок, который он преподавал, а я, хочу надеяться, благодарно выучил.

Быстрота и неожиданность его смерти, вероятно, были итогом быстроты и глубины его жизни. Он охотно брался за множество тем и в каждой становился большим знатоком: описание традиционной культуры шорцев, история христианизации коренных народов Южной Сибири, создание этноэкологических музеев-заповедников, история движения за права коренных народов в Кемеровской области и т. д. и т. п. Все темы для Макарыча шли «снизу», и во всем была искренняя заинтересованность и желание сделать все эти темы материальными в прямом смысле слова. Он создал огромную сеть этноэкологических музеев, видел их не просто инструментом в сохранении «живой старины», а сложными инфраструктурными проектами, которые могли бы вывести отдельные населённые пункты коренных народов из затяжного экономического и социального кризиса. Описание шорской культуры привело к тому, что он и Татьяна Ивановна издали уникальный каталог шорских коллекций в пяти томах. Аналогов этому изда-

нию в сибирской этнографии нет и сейчас. Занимаясь историей христианизации, он помогал православной церкви восстанавливать храмы, а потом написал в соавторстве целую серию книг об этом. Интерес к истории русской колонизации привёл к созданию «Тюльберского городка». Каждый раз я удивлялся его страсти и преданности делу. Он отдавался каждой из тем полностью.

У меня почти не осталось совместных фотографий с Макарычем. Мы общались почти каждый день, пока я жил в Кемерове, потом едва ли не каждый год встречались в Питере, а фотографировались вместе лишь несколько раз. Просматривая папки на своём жестком диске, я нашёл вот этот снимок, которому уже больше 15 лет (фото 1). Он приезжал в тот год на конгресс этнографов и антропологов в Питер, пришёл в Отдел этнографии Сибири в МАЭ, где я тогда только начал работать. Пообщавшись со своими старыми знакомыми, он подошёл ко мне и спросил: «Слушай, покажи мне старые шорские фо-



Фото 1: Валерий Макарович Кимеев и Дмитрий Арзютов. Отдел этнографии Сибири Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, лето 2005 г.

тографии». В тот год мы как раз были погружены в подготовку к печати материалов замечательного этнографа и лингвиста Надежды Петровны Дыренковой. Я с радостью достал перевязанные папки её фотографий и коробки с негативами, и мы вместе расположились за столом. Только только закончив архивные поиски, я был рад рассказать детали её полевой работы. Макарыч, конечно, немного знал о её полевой биографии по фотокопиям фрагментов её дневника, которые ему когда-то передала архивариус Музея Ирина Васильевна Жуковская. Он вспоминал эту историю, как фотокопии, предназначенные для Нины Ивановны Гаген-Торн, известного советского этнографа, которая в конце своей жизни была занята написанием биографий своих друзей и однокашников из далеких 20-х. Рассказывал, как его потрясли эти дневники, которые он сразу же захотел издать и сделал это в 1995 г. в пер-

вом выпуске «Шорского сборника». Он комментировал каждый кадр, сравнивал с тем, что произошло в Шории после Дыренковой и что происходит сейчас. Я помню, как для меня вновь открылась та самая дверь в какое-то другое время, как это было в Усть-Анзасе за несколько лет до этого. Потом мы немного выпили и пошли гулять по городу, в котором прошли его студенческие годы.

Ещё через несколько лет он вновь приехал в Питер, но на этот раз уже с томом докторской диссертации. Огромное количество его друзей и коллег собралось после успешной защиты в нескольких комнатах Отдела этнографии Сибири. Веселье длилось допоздна. Он был счастлив. Шутил, рассказывал разные истории из «поля», общался, был горд своей работой и защитой. А я был очень рад за него. Макарыч реализовал свою мечту. Таким он мне и запомнится. Навсегда.